

## ***НОВАЯ ВЛАСТЬ***

Оторванная от народа, связанная гораздо теснее с иностранным финансовым капиталом, чем с трудящимися массами собственной страны, враждебная революции, которая одержала победу, запоздалая русская буржуазия не могла от собственного имени найти ни одного довода в пользу своих претензий на власть. Между тем обоснование необходимо было, ибо революция подвергает немилосердной проверке не только унаследованные права, но и новые притязания. Меньше всего способен был предьявить убедительные для массы доводы председатель Временного комитета Родзянко, в первые дни после переворота оказавшийся во главе революционной страны.

Камер-паж при Александре II, офицер кавалергардского полка, губернский предводитель дворянства, камергер Николая II, монархист насквозь, богатый помещик и земский деятель, член партии октябристов, депутат Государственной думы, Родзянко был затем выбран ее председателем. Это произошло после сложения с себя полномочий Гучковым, которого как "младотурка" ненавидели при дворе: Дума надеялась, что через посредство камергера легче найдет доступ к сердцу монарха. Родзянко делал, что мог: нелicenseмерно заверял царя в своей преданности династии, выпрашивал как милости быть представленным наследнику и рекомендовался последнему как "самый большой и толстый человек в России". Несмотря на все это византийское скоморошество, камергер не завоевал царя для конституции и царица кратко именовала Родзянко в письмах мерзавцем. Во время войны председатель Думы, несомненно, доставлял немало неприятных минут царю, загоняя его при личных докладах в угол размашистыми увещаниями, патриотической критикой и мрачными пророчествами. Распутин считал Родзянко личным врагом. Близкий к дворцовой банде Курлов говорит о присущем Родзянко "нахальстве при несомненной ограниченности". Витте отзывался о председателе Думы снисходительнее, но немногим лучше: "человек неглупый, довольно толковый; но все-таки главное качество Родзянко заключается не в его уме, а в голосе -- у него отличный бас". Родзянко пытался сперва победить революцию при помощи пожарной кишки; плакал, когда узнал, что правительство князя Голицына бежало с поста; отказывался с ужасом от власти, которую принесли ему социалисты; потом решил взять ее, но как верноподданный, чтобы при первой возможности вернуть монарху утерянный предмет. Не вина Родзянко, если такой возможности не представилось. Зато революция, при содействии тех же социалистов, доставила камергеру широкую возможность громыхать басом перед восставшими полками. Уже 27 февраля отставной кавалергардский ротмистр Родзянко говорил прибывшему в Таврический дворец кавалерийскому полку: "Православные воины, послушайте моего совета. Я старый человек, я вас обманывать не стану -- слушайте офицеров, они вас дурному не научат и будут распоряжаться в полном согласии с Государственной думой. Да

здравствует святая Русь!" Такую революцию готовы были принять все гвардейские офицеры. Зато солдаты недоумевали, зачем нужно было производить ее. Родзянко боялся солдат, боялся рабочих, считал Чхеидзе и других левых немецкими агентами и, возглавляя революцию, поминутно оглядывался, не арестует ли его Совет.

Фигура Родзянко несколько смехотворна, но не случайна: камергер отличным басом олицетворял собою союз двух правящих классов России: помещиков и буржуазии -- с присоединением к ним прогрессивного духовенства; сам Родзянко был очень благочестив и сведущ в церковных песнопеньях, а либеральные буржуа, независимо от своего отношения к православию, считали союз с церковью столь же необходимым для порядка, как и союз с монархией.

На почтенном монархисте, получившем власть от заговорщиков, мятежников и тираноубийц, не было в те дни лица. Другие члены Комитета чувствовали себя немногим лучше. Некоторые из них вообще не появлялись в Таврическом дворце, считая положение недостаточно определившимся. Наиболее мудрые ходили на цыпочках вокруг костра революции, кашляли от дыма и говорили себе: пускай перегорит, тогда попробуем что-нибудь изжарить. Согласившись взять власть. Комитет не сразу решился сформировать министерство. "В ожидании, когда наступит момент образования правительства", -- как выражается Милюков, Комитет ограничился назначением комиссаров из членов Думы в высшие правительственные учреждения: это еще оставляло возможность отступления.

В министерство внутренних дел был отправлен незначительный, но, может быть, менее других трусливый депутат Караулов, который 1 марта издал приказ об аресте всех чинов наружной и тайной полиции и корпуса жандармов. Этот грозный революционный жест имел чисто платонический характер, так как полиция была арестована до всяких приказов и тюрьма была для нее единственным убежищем от расправы. Значительно позже реакция усматривала в демонстративном акте Караулова начало всех дальнейших бедствий.

Комендантом Петрограда назначен был полковник Энгельгардт, офицер гвардейского полка, владелец скаковых конюшен и крупный землевладелец. Вместо того чтобы арестовать "диктатора" Иванова, прибывшего с фронта для усмирения столицы, Энгельгардт отправил в его распоряжение реакционного офицера в качестве начальника штаба: в конце концов, это были свои люди.

В министерство юстиции послано было светило московской либеральной адвокатуры, красноречивый и пустой Маклаков, который прежде всего дал понять реакционным бюрократам, что не хочет быть министром милостью революции, и, "оглянувшись на вошедшего товарища -- курьера", сказал по-французски: "le danger est a gauche" (опасность слева. -- *Ред.*).

Рабочим и солдатам не нужно было знать по-французски, чтобы почувствовать во всех этих господах своих лютых врагов.

Родзянко во главе Комитета пошумел, однако, недолго. Его кандидатура в председатели революционного правительства отпала сама собою: посредник между собственниками и монархией слишком уж явно не годился в посредники между собственниками и революцией. Но он не сошел со сцены, упрямо пытаясь оживить Думу как противовес Совету и неизменно оставаясь в центре всех попыток сплочения буржуазно-помещичьей контрреволюции. Мы еще о нем услышим.

1 марта Временный комитет приступил к формированию министерства, выдвинув в его состав тех самых людей, которых Дума начиная с 1915 года неоднократно рекомендовала царю, как пользующихся доверием страны, -- это были крупные аграрии и промышленники, оппозиционные депутаты Думы, вожди прогрессивного блока. Факт таков, что произведенный рабочими и солдатами переворот на составе революционного правительства, за одним исключением, не отразился вовсе. Исключением был Керенский. Амплитуда Родзянко--Керенский есть официальная амплитуда Февральской революции.

Керенский вошел в правительство как бы в качестве ее полномочного посла. Между тем его отношение к революции было отношением провинциального адвоката, выступавшего в политических процессах. Керенский не был революционером, он лишь терся около революции. Попав впервые в четвертую Думу благодаря своему легальному положению, Керенский стал председателем серой и безличной фракции трудовиков, которая являлась анемичным плодом политического скрещивания либерализма с народничеством. Ни теоретической подготовки, ни политической школы, ни способности к обобщающему мышлению, ни политической воли у него не было. Все эти качества заменялись беглой восприимчивостью, легкой воспламеняемостью и тем красноречием, которое действует не на мысль или волю, а на нервы. Выступления в Думе в духе декламаторского радикализма, который не испытывал недостатка в поводах, создали Керенскому если не популярность, то известность. Во время войны Керенский в качестве патриота считал вместе с либералами самую идею революции губительной. Он признал революцию, когда она пришла и, зацепившись за его подобие популярности, так легко подняла его наверх. Переворот, естественно, отождествлялся для него с новой властью. Исполнительный комитет решил, однако, что в буржуазной революции власть должна принадлежать буржуазии. Эта формула казалась Керенскому фальшивой уже по одному тому, что захлопывала перед ним двери министерства. Керенский был вполне основательно убежден, что его социализм не помешает буржуазной революции, как и последняя не нанесет ущерба его социализму. Временный комитет Думы решил попытаться оторвать радикального депутата от Совета и достиг этого без труда, предложив ему портфель министра юстиции, от которого успел уже отказаться Маклаков. Керенский ловил в кулуарах друзей и спрашивал: брать

или не брать? Друзья не сомневались, что Керенский решил взять. Суханов, весьма расположенный к Керенскому в тот период, подметил у него, правда по позднейшим воспоминаниям, "уверенность в какой-то своей миссии... и величайшее раздражение против всех, кто об этой миссии еще не догадывался". В конце концов друзья, в том числе и Суханов, советовали Керенскому взять портфель: так будет все-таки надежнее, через своего человека можно будет знать, что делается у этих хитрых либералов. Но, толкая Керенского шепотом на грехопадение, к которому он и без того стремился изо всех сил, лидеры Исполкома отказывали ему в официальной санкции. Ведь Исполнительный комитет уже высказался, напоминал Суханов Керенскому, а ставить снова вопрос в Совете "небезопасно", ибо Совет может попросту ответить: "Власть должна принадлежать советской демократии". Таков дословный рассказ самого Суханова -- невероятное сочетание наивности и цинизма. Вдохновитель всей мистерии власти открыто признает, что уже 2 марта Петроградский Совет был настроен в пользу формального взятия власти, которая ему фактически принадлежала с вечера 27 февраля, и что только за спиной рабочих и солдат, без их ведома и вопреки их действительной воле, социалистические вожди могли экспроприировать власть в пользу буржуазии. Сделка демократов с либералами приобретает в рассказе Суханова все необходимые юридические признаки преступления против революции -- именно тайного заговора против власти народа и его прав.

По поводу нетерпения Керенского руководители Исполнительного комитета шушукались о неудобстве для социалиста официально брать кусочек власти из рук думцев, которые только что получили всю власть из рук социалистов. Лучше пусть Керенский сделает это на свою ответственность. Поистине эти господа каким-то безошибочным инстинктом находили из всякого положения как можно более запутанный и фальшивый выход. Но Керенский не хотел войти в правительство в пиджаке радикального депутата; ему нужен был плащ уполномоченного победоносной революции. Чтобы не натолкнуться на сопротивление, он не обращался за санкцией ни к той партии, членом которой он себя провозгласил, ни в Исполнительный комитет, где он числился товарищем председателя. Не предупреждая руководителей, он на пленарном заседании Совета, представлявшем в те первые дни еще хаотический митинг, потребовал слова для внеочередного заявления и в речи, которую одни называют сумбурной, другие истерической, в чем, впрочем, нет противоречия, требовал к себе доверия и говорил о своей общей готовности умереть за революцию и о более непосредственной готовности взять портфель министра юстиции. Достаточно было упоминания о необходимости полной политической амнистии и суда над царскими сановниками, чтобы вызвать бурные аплодисменты неопытного и никем не руководимого собрания. "Этот фарс, -- вспоминает Шляпников, -- вызвал у многих глубокое возмущение и отвращение к Керенскому". Но никто ему не возражал: передав власть буржуазии, социалисты, как мы уже знаем,

избегали поднимать этот вопрос перед массой. Голосования не было. Керенский решил истолковать аплодисменты как мандат доверия. По-своему он был прав. Совет несомненно был за вступление социалистов в министерство, видя в этом шаг к ликвидации буржуазного правительства, с которым он ни на минуту не мирился. Так или иначе, опрокинув официальную доктрину власти, Керенский дал 2 марта согласие на пост министра юстиции. "Своим назначением, -- рассказывает октябрист Шидловский, -- он был очень доволен, и я отлично помню, как в помещении Временного комитета он, лежа в кресле, горячо говорил о том, на какой недостижимый пьедестал он поставит в России юстицию". Действительно, он это показал через несколько месяцев в процессе против большевиков.

Меньшевик Чхеидзе, которому либералы, руководствуясь слишком несложным расчетом и международной традицией, хотели навязать в трудную минуту министерство труда, категорически отказался и остался председателем Совета депутатов. Менее блестящий, чем Керенский, Чхеидзе сделан был все же из более серьезного материала.

Осью Временного правительства, хотя формально и не главой, стал Милюков, бесспорный лидер кадетской партии. "Милюков был вообще несоизмерим с прочими своими товарищами по кабинету, -- писал кадет Набоков после того, как уже порвал с Милюковым, -- как умственная сила, как человек огромных, почти неисчерпаемых знаний и широкого ума". Суханов, вменявший Милюкову в личную вину крушение русского либерализма, писал вместе с тем: "Милюков был тогда центральной фигурой, душой и мозгом всех буржуазных политических кругов... Без него не было бы никакой буржуазной политики в первый период революции". При всей своей чрезмерной приподнятости эти отзывы отмечают неоспоримое превосходство Милюкова над другими политиками русской буржуазии. Его сила состояла в том же, в чем и слабость: он полнее и законченнее других выражал на языке политики судьбу русской буржуазии, то есть ее историческую безвыходность. Если меньшевики плакались, что Милюков погубил либерализм, то с большим основанием можно бы сказать, что либерализм погубил Милюкова.

Несмотря на подогретый им в империалистических целях неославизм, Милюков всегда оставался буржуазным западником. Целью своей партии он ставил торжество в России европейской цивилизации. Но чем дальше, тем больше он боялся тех революционных путей, какими шли западные народы. Его западничество свелось поэтому к бессильной зависти Западу.

Английская и французская буржуазия строила новое общество по образу своему. Германская пришла позже, и ей пришлось в течение долгого времени сидеть на овсяном отваре философии. Немцы выдумали слово "миросозерцание", которого нет ни у англичан, ни у французов: в то время как западные нации создали новый мир, немцы созерцали его. Но немецкая буржуазия, убогая в политическом действии, создала классическую философию -- и это немалый вклад. Русская пришла еще позже. Правда, она перевела немецкое слово "миросозерцание" на русский язык, притом в

нескольких вариантах, но этим только ярче обнаружила наряду с политической импотенцией убийственную философскую скудость. Она импортировала идеи, как и технику, установив для последней высокие пошлины, а для первых -- карантин страха. Этим чертам своего класса и призван был давать политическое выражение Милюков.

Бывший московский профессор истории, автор значительных научных трудов, затем основатель кадетской партии, слившейся из союза либеральных помещиков и союза левых интеллигентов, Милюков был совершенно свободен от той несносной, отчасти барской, отчасти интеллигентской черты политического дилетантизма, которая свойственна большинству русских либеральных политиков. Милюков относился к своей профессии очень серьезно, и это одно его выделяло.

Русские либералы до 1905 года обычно стеснялись быть либералами. Налет народничества, а позже марксизма долго служил для них необходимой защитной окраской. В этой стыдливой, по существу очень неглубокой капитуляции довольно широких буржуазных кругов, в том числе и ряда молодых промышленников, перед социализмом выражался недостаток внутренней уверенности у класса, который явился достаточно своевременно, чтобы сосредоточить в своих руках миллионы, но слишком поздно, чтобы стать во главе нации. Бородатые отцы, разбогатевшие мужики и лавочники, накопили, не размышляя о своей общественной роли. Сыновья кончали университеты в период предреволюционного брожения идей, и когда пытались найти свое место в обществе, то не спешили стать под знамя либерализма, уже изношенное передовыми странами, полинялое и все в заплатках. В течение некоторого времени они отдавали революционерам часть своей души и даже частицу своих доходов. В еще большей степени это относится к представителям свободных профессий: в значительной своей части они проходили в молодые годы через полосу социалистических симпатий. Профессор Милюков никогда не болел корью социализма. Он был органическим буржуа и не стыдился этого.

Правда, в эпоху первой революции Милюков не совсем еще отказался от надежды опереться на революционные массы через посредство прирученных социалистических партий. Витте рассказывает, что на требование, которое он во время формирования своего конституционного кабинета в октябре 1905 года обратил к кадетам: "отсечь революционный хвост", те ответили ему, что они так же не могут отказаться от вооруженных сил революции, как сам Витте -- от армии. По существу дела, это и тогда уже был шантаж: чтобы поднять себе цену, кадеты запугивали Витте массами, которых боялись сами. Именно на опыте 1905 года Милюков убедился, что, как бы ни были сильны либеральные симпатии социалистических групп интеллигенции, подлинными силами революции -- массами -- никогда не отдадут своего оружия буржуазии и, чем лучше окажутся вооружены, тем более будут для нее опасны. Открыто провозгласив, что красное знамя есть красная тряпка, Милюков с явным облегчением ликвидировал роман, которого, в сущности, серьезно никогда не начинал. Оторванность так называемой

"интеллигенции" от народа составляла одну из традиционных тем русской журналистики, причем либералы, в противоположность социалистам, под интеллигенцией понимали все "образованные", то есть имущие, классы. После того как эта оторванность катастрофически разверзлась перед либералами во время первой революции, идеологи "образованных" классов жили как бы в постоянном ожидании страшного суда. Один из либеральных писателей, философ, не связанный условностями политики, выразил страх перед массой с такой исступленной силой, которая напоминает эпилептическую реакционность Достоевского: "Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, -- бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ограждает нас от ярости народной". При таком политическом самочувствии можно ли было либералам мечтать о руководстве революционной нацией? Вся политика Милюкова отмечена печатью безнадежности. В момент национального кризиса возглавляемая им партия думает о том, как уклониться от удара, а не о том, как нанести его.

Как писатель Милюков тяжеловесен, многословен и утомителен. Таков же он и в качестве оратора. Декоративность ему несвойственна. Это могло бы быть плюсом, если бы скаредная политика Милюкова так явно не нуждалась в маскировке или если бы у него было по крайней мере объективное прикрытие в виде великой традиции; но у него не было и малой. Официальная политика во Франции, квинтэссенция буржуазного эгоизма и вероломства, имеет два могущественных подспорья: традицию и риторику. Помножаясь друг на друга, они окутывают защитным покровом каждого буржуазного политика, даже такого прозаического клерка крупных собственников, как Пуанкаре. Не вина Милюкова, если у него не оказалось патетических предков и если политику буржуазного эгоизма ему пришлось проводить на рубеже Европы и Азии.

"Наряду с симпатиями к Керенскому, -- читаем мы в воспоминаниях эсера Соколова о Февральской революции, -- с самого начала существовала большая, ничем не прикрытая и по-своему странная антипатия к Милюкову. Мне не было понятно, да непонятно и теперь, почему этот почтенный общественный деятель был так непопулярен?" Если бы филистеры поняли причину своего восхищения Керенским и своей нелюбви к Милюкову, они перестали бы быть филистерами. Буржуазный обыватель не любил Милюкова потому, что Милюков слишком прозаично и трезвенно, без прикрас выражал политическую сущность русской буржуазии. Глядя на себя в милюковское зеркало, буржуа видел, что он сер, корыстен, труслив, и, как это обычно бывает, обижался на зеркало.

Замечая со своей стороны недовольные гримасы либерального буржуа, Милюков спокойно и уверенно говорил: "обыватель глуп". Он произносил эти слова без раздражения, чуть не с лаской, желая сказать: если сегодня обыватель не понимает меня, не беда, поймет позже. В Милюкове жила основательная уверенность в том, что буржуа его не выдаст и, повинувшись логике положения, потянется за ним, Милюковым, ибо больше ему некуда

идти. И действительно: после февральского переворота все буржуазные партии, даже правые, шли за кадетским вождем, поругивая и даже проклиная его.

Иначе обстояло дело с демократическим политиком социалистической окраски, с каким-нибудь Сухановым. Это был не простой обыватель, наоборот, профессиональный политик, достаточно изощренный в своем маленьком ремесле. "Умным" этот политик не мог казаться, ибо слишком было в глаза постоянное противоречие между тем, чего он хотел, и тем, к чему приходил. Но он умничал, путал и надоедал. Чтобы повести его за собою, надо было обмануть его, не только признавая за ним полную самостоятельность, но даже обвиняя его в избытке командования, в самовластии. Это льстило ему и примиряло с ролью служащего. Именно в беседе с этими социалистическими умниками Милюков и бросил свою фразу: "обыватель глуп". Это была тонкая лесть: "умны только мы с вами". На самом же деле Милюков именно в этот момент вдевал демократическим друзьям кольцо в нос. С этим кольцом они и были впоследствии сброшены.

Личная непопулярность не позволила Милюкову стать во главе правительства: он взял иностранные дела, которые составляли его специальность и в Думе.

Военным министром революции оказался уже знакомый нам крупный московский промышленник Гучков, в молодости либерал с авантюристской складкой, затем доверенное лицо крупной буржуазии при Столыпине в период разгрома первой революции. Роспуск двух первых дум, где господствовали кадеты, привел к государственному перевороту 3 июня 1907 года с целью изменения избирательного права в пользу партии Гучкова, руководившей затем двумя последними думами до самой революции. При открытии в Киеве в 1911 году памятника Столыпину, убитому террористом, Гучков, возлагая венок, молча склонился до земли -- это был жест от имени класса. В Думе Гучков посвящал себя главным образом вопросам "военной мощи" и в подготовке войны шел рука об руку с Милюковым. В качестве председателя центрального военно-промышленного комитета Гучков спланировал промышленников под знаменем патриотической оппозиции, отнюдь не препятствуя в то же время законам прогрессивного блока, включая и Родзянко, гнуть руки на военных поставках. Революционной рекомендацией Гучкова была связанная с его именем полулегенда о подготовке дворцового переворота. Бывший шеф полиции утверждал сверх того, что Гучков "позволял себе в частных разговорах о монархе применять к нему в высокой степени оскорбительный эпитет". Это вполне вероподобно. Но Гучков не составлял на этот счет исключения. Благочестивая царица ненавидела Гучкова, расточала по его адресу грубые ругательства в письмах и выражала надежду, что он будет повешен "на высоком дереве". Впрочем, у царицы многие были для этого на виду. Так или иначе, но тот, кто до земли кланялся палачу первой революции, оказался военным министром второй.

Министром земледелия назначен был кадет Шингарев, провинциальный врач, ставший затем депутатом Думы. Ближайшие

единомышленники по партии считали его честной посредственностью или, как выразился Набоков, "русским провинциальным интеллигентом, рассчитанным не на государственный, а на губернский или уездный масштаб". Неопределенный радикализм молодых лет успел давно выветриться, и главной заботой Шингарева стало показать имущим классам свою государственную зрелость. Хотя старая кадетская программа говорила о "принудительном отчуждении помещичьих земель по справедливой оценке", но никто из собственников не брал этой программы всерьез, особенно теперь, в годы военной инфляции, и Шингарев видел главную свою задачу в том, чтобы затормозить разрешение аграрной проблемы, обнадеживая крестьян миражем Учредительного собрания, которого кадеты не хотели созывать. На земельном вопросе и на вопросе войны Февральской революции предстояло свернуть себе шею. Шингарев помог ей в этом, чем мог. Портфель финансов получил молодой человек по фамилии Терещенко. "Откуда взяли его?" -- спрашивали друг друга с удивлением в Таврическом дворце. Осведомленные люди объясняли, что это -- владелец сахарных заводов, имений, лесов и прочих несметных богатств, оцениваемых в 80 миллионов рублей золотом, председатель военно-промышленного комитета в Киеве, с хорошим французским произношением, и сверх того знаток балета. Прибавляли еще многозначительно, что Терещенко, в качестве наперсника Гучкова, почти участвовал в великом заговоре, который должен был низложить Николая II. Революция, которая помешала заговору, помогла Терещенко.

В течение пяти февральских дней, когда на холодных улицах столицы разыгрывались революционные бои, перед нами тенью промелькнула несколько раз фигура либерала из сановной семьи, сына бывшего царского министра Набокова, почти символическая в своей самодовольной корректности и эгоистической черствости. Решающие дни восстания Набоков проводил в четырех стенах канцелярии или семьи "в тупом и тревожном ожидании". Теперь он стал управляющим делами Временного правительства, фактически министром без портфеля. В берлинской эмиграции, где его убила шальная пуля белогвардейца, он оставил не лишние интереса записки о Временном правительстве. Вменим ему это в заслугу.

Но мы забыли назвать премьера, которого, впрочем, все забывали в наиболее серьезные моменты его короткого премьерства. 2 марта, рекомендуя митингу Таврического дворца новое правительство, Милюков назвал князя Львова "воплощением русской общественности, гонимой царским режимом". Позднее, в своей "Истории революции" Милюков осторожно замечает, что во главе правительства был поставлен князь Львов, "мало известный лично большинству членов Временного Комитета". Историк пытается здесь снять с политика ответственность за выбор. На самом деле князь давно числился в кадетской партии, на ее правом крыле. После роспуска первой Думы на знаменитом заседании депутатов в Выборге, обратившемся к населению с ритуальным призывом обиженного

либерализма не платить налогов, князь Львов присутствовал, но не подписал воззвания. Набоков вспоминает, что тотчас по приезде в Выборг князь заболел, причем болезнь его "приписывалась тому волнению, в котором он находился". По-видимому, князь не был создан для революционных потрясений. Будучи весьма умеренным, князь Львов, в силу политического безразличия, походившего на широту взглядов, терпел во всех возглавлявшихся им организациях большое число левых интеллигентов, бывших революционеров, социалистических патриотов, укрывавшихся от войны. Они работали не хуже чиновников, не воровали и в то же время создавали князю подобие популярности. Князь, богач и либерал -- это импонировало среднему буржуа. Князя Львова намечали поэтому в премьеры еще при царе. Если свести сказанное воедино, то придется признать, что глава правительства Февральской революции представлял собою хотя и сиятельное, но заведомо пустое место. Родзянко был бы, во всяком случае, колоритнее.

Легендарная история русского государства начинается с рассказа летописи о том, как делегаты славянских племен отправились к скандинавским князьям с просьбой: "Приходите владеть и княжить нами". Злополучные представители социалистической демократии превратили историческую легенду в быль не в IX веке, а в XX, с той разницей, что обратились не к заморским князьям, а ко внутренним. Так в результате победоносного восстания рабочих и солдат у власти оказались несколько богатейших помещиков и промышленников, ничем ровно не замечательных, политических дилетантов без программы, с не любящим волнений князем во главе.

Состав правительства был с удовлетворением встречен в союзных посольствах, в буржуазных и бюрократических салонах и в более широких слоях средней и отчасти мелкой буржуазии. Князь Львов, октябрист Гучков, кадет Милюков -- эти имена звучали успокоительно. Имя Керенского, может быть, и заставляло морщиться союзников, но не пугало. Более дальновидные понимали:

в стране все же революция; при столь надежном кореннике, как Милюков, резвая пристяжная может быть только полезна. Так должен был рассуждать французский посол Палеолог, любивший русские метафоры.

В среде рабочих и солдат состав правительства породил сразу враждебные чувства или, в лучшем случае, глухое недоумение. Имена Милюкова или Гучкова не могли вызвать ни одного приветственного возгласа не только на фабрике, но и в казарме. На этот счет сохранились немалочисленные свидетельства. Офицер Мстиславский передает угрюмую тревогу солдат по поводу того, что власть от царя перешла к князю: стоило ли из-за этого кровь проливать? Станкевич, принадлежавший к интимному кружку Керенского, обходил 3 марта свой саперный батальон, роту за ротой, и рекомендовал новое правительство, которое сам он считал лучшим из всех возможных и о котором говорил с большим воодушевлением. "Но в аудитории чувствовался холодок". Лишь когда оратор называл Керенского,

солдаты "вспыхивали истинным удовлетворением". К этому времени общественное мнение столичного мещанства успело уже превратить Керенского в центрального героя революции. Солдаты в гораздо большей степени, чем рабочие, хотели видеть в Керенском противовес буржуазному правительству и лишь недоумевали, почему он там один. Но Керенский был не противовесом, а дополнением, прикрытием, украшением. Он защищал те же интересы, что и Милюков, но при вспышках магния.

\* \* \*

Какова была реальная конституция страны с учреждением новой власти?

Монархическая реакция попряталась по щелям. Как только схлынули первые воды потопа, собственники всех видов и направлений сгруппировались под знаменем кадетской партии, которая сразу оказалась единственной несоциалистической партией и в то же время крайней правой на открытой арене.

Массы шли повально к социалистам, которые сливались в их сознании с советами. Не только рабочие и солдаты огромных тыловых гарнизонов, но и весь разношерстный мелкий люд городов, ремесленники, уличные торговцы, маленькие чиновники, извозчики, дворники, прислуга всех видов, чуждались Временного правительства и его канцелярий, искали власти поближе, подступнее. Все в большем числе появлялись в Таврическом дворце крестьянские ходоки. Массы вливались в советы, как в триумфальные ворота революции. Все, что оставалось за пределами советов, как бы отваливалось от революции и казалось принадлежащим к другому миру. Так оно и было: за пределами советов оставался мир собственников, в котором все краски смешались сейчас в один серовато-розовый защитный цвет.

Не вся трудовая масса выбирала советы, не вся она пробудилась одновременно, не все слои угнетенных посмели сразу поверить, что переворот касается и их.

У многих в сознании тяжело ворочалась лишь нечленораздельная надежда. В советы устремилось все активное в массах, а во время революции более чем когда-либо активность побеждает; и так как массовая активность росла со дня на день, то база советов непрерывно расширялась. Это и была единственно реальная база революции.

В Таврическом дворце были две половины: Дума и Совет. Исполнительный комитет первоначально теснился в каких-то тесных канцеляриях, через которые протекал непрерывный человеческий поток. Депутаты Думы пытались чувствовать себя хозяевами в своих парадных помещениях. Но перегородки скоро были снесены половодьем революции. Несмотря на всю нерешительность своих руководителей. Совет непреодолимо расширялся, а Дума оттеснялась на задворки. Новое соотношение сил всюду прокладывало себе дорогу.

Депутаты в Таврическом дворце, офицеры в своих полках, командующие в своих штабах, директора и администраторы на заводах, на железных дорогах, на телеграфе, помещики или управляющие в имениях --

все чувствовали себя с первых дней революции под недоброжелательным и неутомимым надзором массы. Совет был в глазах этой массы организованным выражением ее недоверия ко всем тем, которые ее угнетали. Наборщики ревниво следили за текстом набираемых статей, железнодорожные рабочие тревожно и бдительно наблюдали за воинскими поездами, телеграфисты вчитывались по-новому в текст телеграмм, солдаты переглядывались при каждом подозрительном движении офицера, рабочие выбрасывали с завода черносотенного мастера и брали под надзор либерального директора. Дума с первых часов революции, а Временное правительство с первых ее дней стали резервуаром, в который стекались жалобы и обиды общественных верхов, их протесты против "эксцессов", их горестные наблюдения и мрачные предчувствия.

"Без буржуазии мы не сможем овладеть государственным аппаратом", - рассуждал социалистический мелкий буржуа, боязливо озираясь на казенные здания, откуда глядел пустыми глазницами скелет старого государства. Выход нашли в том, что на обезглавленный революцией аппарат наставили кое-как либеральную голову. Новые министры вступали в царские министерства и, овладев аппаратом пишущих машинок, телефонов, курьеров, стенографисток и чиновников, убеждались изо дня в день, что машина работает холостым ходом.

Керенский впоследствии вспоминал, как Временное правительство "взяло в свои руки власть на третий день всероссийской анархии, когда на всем пространстве земли русской не только не существовало никакой власти, но не осталось буквально ни одного городского". Советы рабочих и солдатских депутатов, руководившие многомиллионными массами, не в счет: ведь это только элемент анархии. Беспорядочность страны характеризуется исчезновением городского. В этом исповедании веры самого левого из министров ключ ко всей политике правительства.

Места губернаторов заняли по распоряжению князя Львова председатели губернских земских управ, которые немногим отличались от своих предшественников; нередко это были помещики-крепостники, считавшие даже губернаторов якобинцами. Во главе уездов стали председатели уездных управ. Под свежим наименованием комиссаров население узнавало старых врагов. "Те же старые попы, только названные высокопарным именем", -- как сказал некогда Мильтон по поводу трусливой реформации пресвитериан. Губернские и уездные комиссары завладели машинками, переписчицами и чиновниками губернаторов и исправников, чтобы убедиться, что те не завещали им никакой власти. Жизнь в губерниях и уездах сосредоточивалась вокруг советов. Двоевластие прошло, таким образом, сверху донизу. Но на местах советские руководители, те же эсеры и меньшевики, были попроще и далеко не всегда отбрасывали от себя власть, которая им навязывалась всей обстановкой. В результате этого деятельность провинциальных комиссаров состояла главным образом в жалобах на полную невозможность осуществлять свои полномочия.

На второй день после образования либерального министерства буржуазия почувствовала, что она не приобрела власть, а, наоборот, потеряла ее. При всей фантастичности произвола распутинской клики до переворота реальная власть ее имела ограниченный характер. Влияние буржуазии на государственные дела было огромно. Самое участие России в войне было в большей мере делом буржуазии, чем монархии. Но главное состояло в том, что царская власть обеспечивала собственникам их заводы, земли, банки, дома, газеты и, следовательно, в самом жизненном вопросе была их властью. Февральский переворот изменил положение в двух противоположных направлениях: он торжественно вручил буржуазии внешние атрибуты власти, но в то же время отнял у нее ту долю реального господства, которою она располагала до революции. Вчерашние служащие земского союза, где хозяином был князь Львов, и военно-промышленного комитета, где командовал Гучков, стали сегодня под именем эсеров и меньшевиков господами положения в стране и на фронте, в городе и в деревне, назначали Львова и Гучкова в министры и ставили им при этом условия, точно нанимали их в приказчики.

С другой стороны, Исполнительный комитет, создав буржуазное правительство, отнюдь не решался, подобно библейскому богу, заявить, что его творение хорошо. Наоборот, он сейчас же поспешил увеличить дистанцию между собою и делом рук своих, заявив, что собирается поддерживать новую власть лишь постольку, поскольку она будет верно служить демократической революции. Временное правительство отлично сознавало, что не продержится и часу без поддержки официальной демократии; между тем поддержка была ему обещана лишь как награда за хорошее поведение, то есть за выполнение чуждых ему задач, от разрешения которых сама демократия только что уклонилась. Правительство никогда не знало, в каких пределах оно может проявить свою полуконтрабандную власть. Не всегда могли ему это сказать заранее заправилы Исполкома, ибо и им трудно было предугадать, на какой черте прорвется недовольство в их собственной среде как отражение недовольства массы. Буржуазия делала вид, что социалисты ее обманули. В свою очередь социалисты боялись, что своими преждевременными претензиями либералы только взбудоражат массы и ухудшат и без того нелегкое положение. *"Постольку-поскольку"* -- эта двусмысленность наложила свою печать на весь предоктябрьский период, став юридической формулой внутренней лжи, заложенной в убудочный режим Февральской революции.

Для воздействия на правительство Исполнительный комитет избрал особую комиссию, которую вежливо, но смехотворно назвал "контактной". Организация революционной власти была, таким образом, официально построена на началах взаимного уговаривания. Небезызвестный мистический писатель Мережковский нашел прецедент для такого режима только в ветхом завете: при царях Израиля состояли пророки. Но библейские пророки, как и пророк последнего Романова, получали по крайней мере внушения непосредственно с небес, и цари не смели перечить: этим обеспечивалось

единство власти. Совсем иное дело -- пророки Совета: они вещали лишь под внушением собственной ограниченности. Либеральные же министры считали, что ничто доброе вообще не может исходить от Совета. Чхеидзе, Скобелев, Суханов и другие ходили к правительству и многословно убеждали его уступить; министры возражали; делегаты возвращались в Исполнительный комитет, давили на него авторитетом правительства, снова вступали в контакт с министрами и -- начинали с начала. Эта сложная мельница не давала помола.

8 контактной комиссии все жаловались. Особенно Гучков плакался перед демократами на беспорядки в армии, вызываемые попустительством Совета. Иногда военный министр революции "в прямом и буквальном смысле... проливал слезы, по крайней мере, усердно вытирал глаза платком". Он полагал не без основания, что осушать слезы помазанников составляет прямую функцию пророков.

9 марта генерал Алексеев, стоявший во главе ставки, телеграфировал военному министру: "Германское ярмо близко, если только мы будем потакать Совету". Гучков отвечал ему крайне слезливо: правительство, увы, не располагает реальной властью, в руках Совета войска, железные дороги, почта, телеграф. "Можно прямо сказать, что Временное правительство существует, лишь пока это допускается Советом".

Неделя проходила за неделей, а положение нисколько не улучшалось. Когда Временное правительство послало в начале апреля депутатов Думы на фронт, оно со скрежетом зубов внушало им не обнаруживать никаких разногласий с делегатами Совета. Либеральные депутаты чувствовали себя во все время поездки как бы под конвоем, но сознавали, что без этого они, несмотря на высокие полномочия, не могли бы не только предстать перед солдатами, но и найти места в вагоне. Эта прозаическая деталь в воспоминаниях князя Мансырева прекрасно дополняет переписку Гучкова со ставкой о сущности февральской конституции. Один из реакционных остряков не без основания характеризовал положение так: "Старая власть сидит в Петропавловской крепости, а новая -- под домашним арестом".

Но разве же у Временного правительства не было другой опоры, кроме двусмысленной поддержки советской верхушки? Куда девались имущие классы? Вопрос основательный. Связанные своим прошлым с монархией, имущие классы поспешили после переворота перегруппироваться по новой оси. Совет промышленности и торговли, представительство объединенного капитала всей страны, уже 2 марта "преклонился перед подвигом Государственной Думы" и отдал себя "в полное распоряжение" ее Комитета. Земства и городские думы вступили на тот же путь. 10 марта уже и совет объединенного дворянства, опоры трона, призвал на языке патетической трусости всех русских людей "сплотиться вокруг Временного правительства как единой ныне в России законной власти". Почти одновременно с этим учреждения и органы имущих классов начали осуждать двоевластие, возлагая за беспорядки ответственность на советы, сперва осторожно, затем все смелее. За хозяевами потянулись верхи служащих, объединения

либеральных профессий, государственные чиновники. Из армии шли сфабрикованные в штабах телеграммы, адреса и резолюции того же характера. Либеральная пресса открыла кампанию "за единовластие", которая в ближайшие месяцы приняла характер ураганного огня по вождям советов. Все вместе выглядело чрезвычайно внушительно. Большое число учреждений, известных имен, резолюций, статей, решительность тона -- все это оказывало безошибочное действие на впечатлительных заправил Исполнительного комитета. И тем не менее за этим угрожающим парадом имущих классов не было серьезной силы. А сила собственности? -- возражали большевикам мелкобуржуазные социалисты. Собственность есть отношение между людьми. Она представляет огромную силу, доколе пользуется всеобщим признанием, которое поддерживается системой принуждения, именуемой правом и государством. Но ведь в том-то и была суть положения, что старое государство сразу рушилось и все старое право оказалось поставлено массами под знак вопроса. На заводах рабочие все больше сознавали себя хозяевами, хозяин -- непрошеным гостем. Еще менее уверенно чувствовали себя помещики в деревнях, лицом к лицу с угрюмыми и ненавидящими мужиками, далеко от власти, в существование которой помещики, за дальностью расстояния, первоначально верили. Но собственники, лишенные возможности распоряжаться собственностью и даже охранять ее, переставали быть подлинными собственниками, а становились сильно испуганными обывателями, которые не могли оказать своему правительству никакой поддержки, ибо больше всего нуждались в ней сами. Уже очень скоро они начали проклинать правительство за его слабость. Но в лице правительства они лишь проклинали собственную судьбу.

Тем временем совокупная деятельность Исполнительного комитета и министерства как бы поставила своей задачей доказать, что искусство управления во время революции состоит во многословном упущении времени. У либералов это было делом сознательного расчета. По их твердому убеждению, все вопросы требовали отлагательства, кроме одного -- принесения присяги на верность Антанте.

Милюков познакомил своих коллег с тайными договорами. Керенский пропустил их мимо ушей. По-видимому, один только обер-прокурор святейшего Синода, богатый неожиданностями Львов, однофамилец премьера, но не князь, бурно возмутился и даже назвал договоры "разбойничьими и мошенничьими", чем вызвал несомненно снисходительную улыбку Милюкова ("обыватель глуп") и предложение простого перехода к очередным делам. Официальная декларация правительства обещала созыв Учредительного собрания в наикратчайший срок, который, однако, преднамеренно не был определен. О государственной форме не было речи: правительство надеялось еще вернуть потерянный рай монархии. Но действительная суть декларации состояла в обязательстве довести войну до победного конца и "неуклонно исполнять заключенные с союзниками соглашения". В отношении грознейшей проблемы народного

существования революция совершилась как бы для того только, чтобы объявить: все остается по-старому. Так как демократы придавали признанию новой власти со стороны Антанты мистическое значение: мелкий торговец ничто, пока банк не признает его кредитоспособным, -- то Исполнительный комитет молча проглотил империалистическую декларацию 6 марта. "Ни один официальный орган демократии... -- сокрушался Суханов через год, -- публично не реагировал на акт Временного правительства, обесчестивший нашу революцию при самом ее рождении, перед лицом демократической Европы".

8-го вышел наконец из министерской лаборатории декрет об амнистии. К этому времени двери тюрем были

во всей стране уже открыты народом, политические ссыльные возвращались в сплошном потоке митингов, энтузиазма, военной музыки, речей и цветов. Декрет прозвучал как запоздалое эхо канцелярий, 12-го была провозглашена отмена смертной казни. Четыре месяца спустя казнь была восстановлена для солдат. Керенский обещал поднять правосудие на небывалую высоту. Сгоряча он действительно провел предложение Исполнительного комитета, введившее представителей рабочих и солдат в качестве членов мировых судов. Это была единственная мера, в которой ощущалось сердцебиение революции и которая вызывала поэтому ужас всех евнухов юстиции. Но на этом дело и остановилось. Занявший при Керенском видную должность по министерству адвокат Демьянов, тоже "социалист", решил, по собственным словам, держаться принципа оставления на местах всех старых деятелей: "политика революционного правительства никого не должна без нужды обижать". Это было в основном правило всего Временного правительства, которое пуще всего боялось обидеть кого-либо из среды господствующих классов, даже царскую бюрократию. Не только судьи, но и прокуроры царизма остались на местах. Конечно, могли обидеться массы. Но это уже касалось советов: массы не входили в поле зрения правительства.

Нечто вроде свежей струи вносил только упомянутый уже темпераментный обер-прокурор Львов, докладывавший официально об "идиотах и мерзавцах", заседающих в святейшем Синоде. Министры слушали не без тревоги эти сочные характеристики, но Синод продолжал оставаться государственным учреждением, православие -- государственной религией. Даже состав Синода сохранился: революция не должна ни с кем ссориться.

Продолжали заседать или по крайней мере получать жалованье члены Государственного совета, верные слуги двух или трех императоров. Этот факт приобрел скоро символическое значение. По заводам и казармам шумно протестовали. Исполнительный комитет волновался. Правительство потратило два заседания на обсуждение вопроса о судьбе и о жалованье членов Государственного совета и не могло прийти ни к какому решению. Да и как потревожить почтенных людей, среди которых к тому же немало добрых знакомых?

Распутинские министры сидели еще в крепости, но Временное правительство поспешило уже назначить бывшим министрам пенсии. Это звучало как издевательство или как голос с того света. Но правительство не хотело ссориться со своими предшественниками, хотя бы и посаженными в тюрьму.

Сенаторы продолжали дремать в расшитых мундирах, и, когда вновь пожалованный Керенским левый сенатор Соколов осмелился явиться в черном сюртуке, его попросту удалили с заседания: царские сенаторы не боялись ссориться с Февральской революцией, когда убедились, что ее правительство лишено зубов.

Причину крушения мартовской революции в Германии Маркс усматривал некогда в том, что она "реформировала лишь самую политическую верхушку, между тем как оставила неприкосновенными все слои под этой верхушкой -- старую бюрократию, старую армию, старых, родившихся, воспитавшихся и поседевших на службе у абсолютизма, судей". Социалисты типа Керенского искали спасения в том, в чем Маркс видел причину гибели. Марксисты из меньшевиков были с Керенским, а не с Марксом.

Единственной областью, в которой правительство проявило инициативу и революционный темп, оказалось акционерное законодательство: реформаторский декрет вышел уже 17 марта. Национальные и вероисповедные ограничения были отменены только через три дня. В составе правительства было немало лиц, которые при старом режиме страдали разве лишь от недочетов акционерного дела.

Рабочие нетерпеливо требовали восьмичасового рабочего дня. Правительство притворялось глухим на оба уха. Сейчас война, все должны жертвовать собою на пользу родины. К тому же это дело Совета: пусть успокоит рабочих.

Еще грознее стоял вопрос о земле. Тут нужно было сделать хоть что-нибудь. Подстегиваемый пророками министр земледелия Шингарев предписал создать на местах земельные комитеты, предусмотрительно не определив их функций и задач. Крестьяне вообразили, что комитеты должны дать им землю. Помещики считали, что комитеты должны оградить их собственность. Так на шее февральского режима с самого начала затягивалась мужицкая петля, более неумолимая, чем все остальные.

Согласно официальной доктрине все вопросы, породившие революцию, откладывались до Учредительного собрания. Разве могли предвосхищать национальную волю безупречные конституционные демократы, которым, увы, не удалось посадить на эту волю верхом Михаила Романова. Подготовка будущего национального представительства ставилась тем временем с такой бюрократической солидностью и рассчитанной медлительностью, что само Учредительное собрание превращалось в мираж. Только 25 марта, почти через месяц после переворота -- месяц революции! -- правительство постановило образовать для выработки избирательного закона громоздкое Особое совещание. Но оно не открывалось. В своей насквозь

фальшивой "Истории революции" Милюков конфузливо сообщает, что в результате разных проволочек "при первом правительстве работа Особого совещания так и не началась". Проволочки входили в конституцию совещания и в его обязанности. Задача была в том, чтобы оттянуть Учредительное собрание до лучших времен: до победы, до мира или до корниловских календ.

Русская буржуазия, которая пришла на свет слишком поздно, смертельно ненавидела революцию. Но ее ненависти не хватало силы, Приходилось выжидать и маневрировать. Не имея возможности опрокинуть и задушить революцию, буржуазия рассчитывала взять ее измором.